

ЭХО ЗАБЫТЫХ БОГОВ
КНИГА ВТОРАЯ

ВОЛЧЬЯ СЫТЬ

ПО МОТИВАМ АЛЬБОМА
ГРУППЫ ИЛЬИНК

Константин Ильин

Волчья сыть

<https://litres.ru/74620743>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мёртвые пришли спросить, как их звали. Живые не смогли ответить.

Над Полистью стелется туман. Из него выходят те, кого забыли помянуть. Впереди идёт человек с топором и железным венцом. Он помнит эту землю. Она не помнит его.

У Ярины из Кривца остался бабкин короб с девятьюстами именами на бересте. Возможно, среди них есть то, которое остановит мёртвых. Если она успеет его прочесть.

«Волчья сыть» — вторая книга цикла «Эхо забытых богов». Тёмное славянское фэнтези Константина Ильина по мотивам одноимённого альбома группы ИльинК.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
Пролог	4
Глава первая	18
Глава вторая	38
Интерлюдия первая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Константин Ильин

Волчья сыть

*Пусть стёрты руны, пусть капища в пыли,
Мы сохранили гром в своей крови!*

«Волчья сыть»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЕНЬ НАД НАВЬЮ

Пролог

ШЁПОТ МЁРТВЫХ КОРНЕЙ

*Корни пьют кровь...
Камень трещит...
Мы ждём во тьме...
Спящий — не спит...*

«Шёпот мёртвых корней»



Лето 6496-е от сотворения мира. Киев

Жара стояла третью седмицу.

Днепр обмелел и отошёл от берегов, обнажив полосы серого ила, и ил растрескался на солнце, как старая глазурь на горшке. Над водой висело марево. Пахло тиной, рыбой, горячей пылью с Боричева взвоза и дёгтем с Подола, где смолили лодьи. Ласточки летали низко, у самой воды, и не кричали.

В такую жару люди не выходят из изб до вечера.

В тот день вышли все.

* * *

Его волокли конским хвостом.

Это было продумано, и продумано человеком, который хорошо знал людей. Можно было сжечь, но сжигают врага, а огонь оставляет пепел, и пепел собирают в тряпицу и прячут за пазуху. Можно было изрубить, но щепки тоже собирают. Князь Владимир Святославич велел иначе: привязать к хвосту коня и тащить с горы вниз, по Боричеву взвозу, до Ручья.

И двенадцать мужей шли рядом и били идола палками.

Не потому, что дерево что-то чувствует. Потому, что

смотрели.

* * *

Смотрел весь Киев.

Стояли по обе стороны взвоза, в три и в четыре ряда, и молчали. Молчание было такое, что слышно было, как скребёт по сухой глине серебряная голова, как всхрапывает конь, которому не нравилась работа, и как двенадцать палок падают вразнобой: тум, тум, тум. Из-под головы поднималась белая пыль и оседала на лица стоящих, и никто её не стирал.

Идол был велик. Он стоял на горе с тех пор, как Владимир пришёл из Новгорода: дубовый, в два человеческих роста, с серебряной головой и золотыми усами. Ему приносили. Ему кланялись. Три года назад на этом самом месте зарезали двоих варягов, отца и сына, за то, что отказались отдать мальчика в жертву, и кровь их ещё долго чернела на камне у подножия, пока её не смыло дождями. И весь Киев тогда тоже стоял и смотрел, и тоже молчал.

Теперь его тащили за конём, и золотые усы обломились ещё в начале спуска, и кто-то из передних, оглянувшись, подобрал их и сунул за голенище, и его не тронули, потому что всем было не до того.

На середине спуска из толпы вышел старик.

Он был в белом, с длинной седой бородой, заплетённой в косу, и в руке у него был посох с медным навершием, и его знали: это был старший из тех, кто служил на горе, кто принимал жертвы и знал слова. Ему было за восемьдесят. Он шёл, не торопясь, прямо на коня.

— Стой, — сказал он. Негромко, но конь встал.

Двенадцать с палками остановились.

Старик подошёл к идолу, лежащему в пыли, опустился на колени и положил ладонь на серебряную голову, на то место, где раньше были усы. Он ничего не говорил. Он просто стоял на коленях посреди взвоза, в пыли, и держал руку на голове, и весь Киев смотрел на него.

Тогда один из дружинников, что шли за конём, подошёл сзади и ударил его мечом.

Удар пришёлся в шею, сбоку, наискось, и старик не упал сразу. Он постоял ещё на коленях, будто задумался, и кровь пошла у него из шеи ровной струёй, толчками, на белую рубаху, на седую бороду, на серебряную голову идола. Она была очень красная на белом и на серебре. Потом он лёг лицом вниз, прямо на идола, и так и остался, обняв его.

Дружинник вытер меч о рукав.

— Тащи, — сказал он.

Старика оттащили за ноги к обочине, и за ним по пыли осталась тёмная полоса, а коня хлестнули, и он пошёл дальше, и идол пополз, и на его серебряной голове кровь уже сворачивалась и темнела от пыли.

Люди стояли.

Плакали не все и не громко. Плакали те, кто постарше, — беззвучно, стоя прямо, глядя перед собой. Молодые не плакали. Молодые смотрели с любопытством, потому что им было интересно, чем кончится, и потому что за двадцать лет им ещё ни разу не показывали ничего подобного.

Идола дотащили до воды и столкнули.

* * *

Потом в воду загнали людей.

Это было в тот же день, к вечеру, когда жара спала. Всех, кто был в Киеве, — старых и малых, бояр и холопов, баб с детьми на руках, — согнали к Днепру и велели входить в воду. Кто по пояс, кто по грудь, а детей держали на руках над водой. Попы, привезённые из Корсуня, стояли на берегу в золотых ризах, блестевших на закатном солнце, и читали по-гречески, и никто в воде не понимал ни слова.

Вода была тёплая, как в кадке, и мутная от ила, который поднимали тысячи ног.

Один мужик, здоровый, чернобородый, из гончаров, в во-

ду не пошёл. Он стоял на берегу и говорил, что не пойдёт, и что его отец не ходил, и дед, и что он не рыба, чтобы его купать. Его взяли под руки двое и повели. Он упёрся. Его ударили древком по ногам, он упал на колени в мокрый песок, и его поволокли в воду на коленях, и держали там за волосы, пока поп на берегу не дочитал.

Когда его отпустили, он встал, весь мокрый, с лицом в песке и крови из разбитой губы, и пошёл из воды, и больше ничего не говорил.

Над рекой кричали чайки.

* * *

Идол не утонул.

Дуб не тонет, во всяком случае, не сразу, не такой, вымоченный дождями и высушенный солнцем, весь в старом жире от жертвенных возлияний. Он лёг на воду боком, повернулся, серебряная голова ушла и вынырнула, и его понесло вниз, к порогам.

И тогда пошли люди с шестами.

Их поставили заранее, вдоль всего берега, до самых порогов: князь предвидел и это. Приказ был простой: не давать приставать. Если бревно прибьёт к берегу, отталкивать шестом и гнать дальше, пока не пройдёт пороги; а за порогами пусть плывёт куда хочет, там степь, там не наше.

Мальчику по имени Гюрята было тринадцать лет, и он стоял у воды с шестом, и был очень горд, потому что его поставили в мужской ряд.

Идол подошёл к нему на закате.

Солнце садилось за Днепр, огромное, красное, мутное от пыли, и вода была вся красная от него, от берега до берега. Идол шёл по этой красной воде медленно, боком, задевая дно, и остановился в трёх шагах, зацепившись за корягу. Вода вокруг него ходила кругами.

Гюрята поднял шест.

И увидел лицо.

Это было просто дерево. Сажа, старая краска, две выбоины на месте глаз, откуда ещё в прошлом году выковыряли камни. На серебряной голове, в складках чеканки, запеклась кровь старика, и вода её не смыла. Ничего там не было, и он это знал, и знание не помогало.

Но оно смотрело снизу вверх, из воды, спокойно и внимательно, как смотрит человек, которого предали свои и который не собирается кричать об этом, а просто запоминает, кто где стоял.

— Отпихивай! — крикнули сзади.

Гюрята упёрся шестом и не смог.

Он давил изо всех сил, у него дрожали руки, и он давил, и идол не двигался. Потом кто-то большой отодвинул его плечом.

— Дай сюда. Эх ты, воин.

Мужик был кожемяка с Подола, красный, потный, от него несло дублёной шкурой. Он взялся за шест, крикнул, и бревно снялось с коряги и пошло вниз.

— Чего застыл? Дерево и дерево. Я этих деревьев за жизнь знаешь сколько повидал? Всё одно дерево.

— Дерево, — сказал Гюрята.

— То-то. — Кожемяка вытер лоб. — Ну, стой тогда. Следующее не прозевай. Их тут, говорят, ещё шесть поплывёт.

* * *

Гюрята всю ночь не спал, а под утро понял, что именно его напугало.

Не взгляд. К взглядам он был готов, ему про такое рассказывали.

Испугало то, что идол не сопротивлялся.

Он мог бы перевернуться, зацепиться крепче, уйти в омут — что угодно. Он просто лежал в воде и смотрел, и в этом не было ни злобы, ни мольбы, а было терпение.

Так лежит зверь, который знает, что до вечера ещё далеко. За порогами его вынесло на отмель.

Место с тех пор звали Перунова рень, и место было нехорошее: там не ставили сетей и не поили коней. К осени идола растащило половодьем, а к следующей весне от него не осталось и щепки, и всякий разумный человек сказал бы, что на

этом дело кончилось.

Дело на этом началось.

* * *

Потому что дерево — не бог, и никто из тех, кто волок его по Боричеву, этого так и не понял.

Бог — это когда о тебе говорят.

Пока человек, выходя в поле, кланяется на четыре стороны; пока баба, ставя тесто, бормочет над квашнёй то, что бормотала её мать; пока пастух, теряя корову, ругается именем, которого не понимает, — до тех пор бог есть, и ему тепло, и он сыт, и ему, в общем, всё равно, что там сделали с его деревяшкой.

А когда переставать говорить начинают все сразу, по приказу, в один год, — тогда происходит то, чего никогда прежде не было.

Бог не умирает.

Бог голодает.



Верховья Полисти. Восемь дней спустя

В четырёхстах верстах к северу, под слоем палой листвы и мёрзлой глины, в темноте, где не бывает ни света, ни звука, шевельнулись корни.

Не все. Только старые: те, что уходят на две и три сажени, к воде, к камню, к тому слою, где лежат кости.

Их там лежало много.

Корни проросли сквозь них давно. Старая сосна над Вороньим Логом стояла на девятистах мертвецах, и её корни шли через рёбра, как нитка идёт через бусы, обвивали черепа, лезли в пустые глазницы и выходили из разинутых ртов. Сто двадцать три года назад, в ту осень, когда в логу легли сразу девятьсот, земля там пропиталась кровью на аршин в глубину, и сосна, стоявшая тогда тонким подростом, пила эту кровь всё лето и к зиме выросла на полтора локтя, чего никогда не бывает.

Она и сейчас помнила вкус.



Под верховьями Полисти лежали воины, легшие в Вороньем Логу и не похороненные никем; лежали тридцать один ольшанский, названные придуманными именами; лежала девочка Голуба четырёх лет; лежал одноглазый старик, убитый молнией на голом бугре; лежал немой старик, который полвека ходил по деревням и писал на бересте имена, потому что сказать их вслух не мог; лежала женщина, которую звали Пряхой; и в неизвестном месте на левом берегу, без кургана и без приметы, ровно, чтоб не видно, лежал кто-то, чьё имя не помнил уже никто в целом свете.

Сто двадцать три года они лежали смирно.

Их поминали. Раз в год у костра читали имена, и этого хватало: мёртвому нужно немного, мёртвому нужно, чтобы кто-то живой встал и произнёс в темноту что-то специально для него.

Потом читать перестали.

Не сразу и не по злобе. Просто умер тот, кто читал, а следующий читал уже короче, а его сын читал только своих, а внук не читал вовсе, потому что было некогда, и потому что в Кривце поставили церковь и там на Рождество горели свечи и пели.

Корни пили сто двадцать три года и не получали ничего. Кровь в земле давно высохла, и вкус её остался только в па-

мяти старой сосны.

А теперь, разом, по всей земле от Киева до Ладogi, прекратилось и то небольшое, что ещё капало.

* * *

Первым проснулся не Перун.

Перуна помнили дольше всех: его имя осталось в брани, в божбе, в присказке про грозу, и потому он был сыт последним и спал крепче.

Первым проснулся тот, кого не поминали никогда.

Ему не носили хлеба и не резали петухов. Его не звали в помощь, его именем не клялись, и на капищах ему не ставили лика, потому что нельзя ставить лик тому, чьё имя проносить нельзя.

Про него говорили: «тот». Или не говорили.

И вот он проснулся — единственный из всех, кто ничего не потерял, потому что ему и не давали ничего.

Он был очень голоден. Он был голоден всегда.

Он поднялся из-под корней, стряхнул с себя землю и триста лет чужого молчания, и оказалось, что за это время он стал больше, чем был. Старая сосна над Вороньим Логом, когда он проходил под ней, качнулась всем стволом, хотя ветра не было, и с её корней, торчавших из обрыва, посыпались мелкие жёлтые кости.

Шерсть на нём была цвета мокрой золы.

Глава первая

ЧЕРТОГ ИЗГОЕВ

*Наши лица укрыты древесной корой,
Мы сменили кольчуги на волчий оскал.
Наш единственный бог — это голод и мрак,
Наш единственный храм — средь звериных троп.*

«Чертог изгоев»



Кривец на Полисти. Февраль 6497-го

Ярина писала имена, потому что так делала бабка.

Больше причин не было. Она спрашивала — бабка отвечала «так надо», и на этом разговор кончался, потому что Веретея была из тех старух, которых нельзя переспорить, а можно только пережить.

Делалось это так. В короб из липовой драни складывалась береста, нарезанная полосками в два пальца. Раз в год, осенью, на Деды, короб доставали, и Веретея называла, а Ярина писала — не буквами, которым её выучил поп Кирилл, а чертами и резами, потому что бабка иных знаков не признавала.

— Буквы для книг, — говорила она. — А для имён своё. Не путай.

— А почему?

— А потому что я сказала.

Имён было сорок два. Дед, прадед, две прабабки, дядья, дети. Помершую скотину тоже поминали, но на другой бересте, и бабка за этим следила строго.

— Корову с человеком на одну бересту не пиши. Обидятся.

— Кто обидится? Корова?

— Оба.

А в самом низу короба лежали три полоски, которые Яри-

на не писала. Они были старые до черноты, ломкие по краям, и знаки на них стояли непривычно тесно, в две строки, и разобрать удавалось едва половину.

— Это чьё? — спросила она в первый раз, лет в девять.

— Не трогай.

— А чьи имена?

— Не знаю. Мне бабка отдала, ей — её бабка. Сказано: держать и не терять.

— А зачем держать, если не знаешь?

Бабка посмотрела на неё поверх короба долгим тяжёлым взглядом.

— Затем, что кто-то до нас решил, что это важнее, чем понимать. — Она захлопнула крышку. — И нечего мне тут. Иди кур корми.

* * *

Кривцу было триста лет, и он стоял на месте.

Это было редкостью. Деревни в верховьях жили по сорок, по шестьдесят лет, потом истощалась подсека, и люди снимались и уходили на новое место, и через два поколения никто уже не помнил, где стояла старая. А Кривец стоял, потому что под ним была не подсека, а пойма — двести десятин заливного суглинка, которые рождали каждый год, не спрашивая.

В Кривце было сорок семь дворов, церковь Николы, торжок по средам и один человек, умевший читать книги, — поп Кирилл.

Ему было под семьдесят. Он был четвёртым попом на этом месте и был здешний, кривецкий, и отец у него был кривецкий, и дед. Когда приезжие из Плескова начинали при нём говорить о нечестии верховских, он слушал, кивал, а после их отъезда крестил лоб и говорил про себя нехорошее.

— Прости, Господи, — добавлял он потом. — Но ведь дураки.

Он знал про свой приход всё. Знал, что бабы на Троицу ходят на голый бугор над излучиной и вяжут ленты на куст, и что куст этот стоит там дольше, чем церковь. Знал, что на Николу зимнего мужики ставят у порога хлеб. Знал, что про старую веру тут не помнят ничего, ни имени, ни слова, а обычаи держат крепче, чем посты.

И знал про горсть.

Весной, выходя на яровое, сеятель не кидал первую горсть в борозду. Он поворачивался и бросал её через левое плечо назад, в сторону леса, и говорил три слова:

«Это не наше».

Потом крестился и начинал сеять.

Так делали все сорок семь дворов, и мальчишкам это показывали в первый же выход, как показывают, с какой стороны братья за грабли.

* * *

Ярина спрашивала об этом трижды.

Отца спрашивала, отец сказал: «Так деды». Бабку спрашивала, бабка сказала: «Не наше, и всё, чего пристала». Попа спрашивала, и вот тут вышло иначе, потому что Кирилл долго молчал, а потом сказал:

— Не знаю, дитя. Тридцать лет думаю и не знаю.

— А почему не запретишь?

— А на каком основании? — Поп поскрёб бороду. — Богу тут никто не молится. Идола нет. Слова три, и все русские. Кидают горсть в лес. Может, птицам. Может, зверю. — Он развёл руками. — Сказано: не заграждай рта волю молотящему. А тут даже не вол, тут мужик, и он щедрый. Я такого правила не знаю, чтоб запрещать сеятелю быть щедрым.

— Это ж не про то сказано.

— Не про то, — согласился Кирилл. — Я, дитя, половину Писания помню не про то. Зато к месту.

* * *

Один раз, лет двадцать назад, он попробовал объяснить это заезжему игумену.

— Отче, они не двоеверцы. Двоеверец знает два имени и выбирает. А эти знают одно — наше. Они просто ходят на бугор и не знают почему.

— И что же?

— А то, что человек, который делает и не знает почему, — он не в грехе. Он в сиротстве.

Игумен велел ему больше так не выражаться.

— Я и не выражаюсь, — рассказывал Кирилл потом Яри-не. — Я, видишь, только тебе. Ты же не игумен.

* * *

Изгои пришли в третью седмицу февраля, к вечеру, в оттепель.

Оттепель в тот год была гнилая. Три дня с юга дул тёплый сырой ветер, и снег осел, почернел, стал ноздреватым, как старый хлеб, и под ним зажурчало. Лёд на Полисти потемнел и покрылся водой: поверх льда стояла вода по щиколотку, мутная, серая, и в ней отражалось низкое небо. С крыш капало весь день, и сосульки падали и втыкались в снег, как ножи. Пахло сырой корой, навозом, оттаявшим за зиму, и прелой соломой. Над ольшаником у реки кружили вороны и оралы, не переставая, хрипло, и никто не мог понять, чего они орут.

Их было девять. Они вышли из ольшаника у реки, се-

ро-лилового, голого, с набухшими почками, и встали на льду в двух перестрелах от околицы, по щиколотку в воде, и стояли, не приближаясь, пока их не заметили и не забили в било.

Их было девять, и с ними был десятый. Его вели на верёвке, со связанными за спиной руками, и он спотыкался и падал в воду на льду, и его поднимали за шиворот.

Мужики вышли к тыну с чем было.

— Не лезь вперёд, — сказал Кирилл Ярине. — И платок надвинь.

Она надвинула.

Староста Некрас стоял у ворот, держал рогатину обеими руками, как держат лопату, и бормотал себе под нос, не переставая.

— Девять. Всего девять. Ну, девять — это ничего, это отобьётся. А если там ещё в ольшанике? Там же не видно, там может и двадцать. Вот чего они в оттепель, а? Всегда по морозу приходили. По морозу хоть следы видно. А тут по мокрому. Это не к добру, по мокрому...

— Некрас, помолчи.

— Я молчу. Я про себя.

Изгоев в верховьях знали давно и боялись умеренно. Они жили за третьей верстой, в буреломе, где никто не считал ни дворов, ни душ. Раз в год они выходили и брали: зерно, соль, железо. Брали немного и почти никогда не убивали, потому что мёртвая деревня не даёт ничего и на другой год.

Это была старая, отработанная, почти вежливая система,

и обе стороны её понимали.

В этот раз она сломалась, и все поняли это сразу, как только разглядели десятого.

Это был тиун. Княжий человек из Плескова, который на Рождество приезжал в верховья за данью, собирал, ночевал у старосты, пил у старосты и уезжал, и так было двадцать лет. После Рождества его в Плескове не дождались. Думали — замёрз по дороге.

Он не замёрз. Он был жив, в изорванной свите, без шапки, с распухшим синим лицом, и губы у него были разбиты в кровь, и одного глаза не было видно под опухолью. Он увидел Кривец на берегу и закричал, тонко, как баба:

— Некрас! Некрасушко! Это я! Скажи им! Я ж у тебя ночевал!

Некрас у ворот выпустил рогатину.

* * *

Из девяти вышел вперёд один и потащил тиуна за собой за верёвку, как тащат упирающуюся козу.

Он был не самый большой. Жилистый, среднего роста, лет тридцати, и лицо у него было измазано глиной с сажей, и от этого глаза делались очень светлыми. На нём была волчья шкура, надетая через голову, с черепом на темени.

— Лют, — сказали в толпе. — Это Лют.

— Кривец! — крикнул он.

Голос у него был высокий и звонкий, как у человека, привыкшего кричать в лесу.

— Мы пришли не за хлебом! Хлеб оставьте себе, подавитесь! Мы пришли показать!

Он поставил тиуна на колени, прямо в талую воду на льду, лицом к Кривцу. Тиун плакал и говорил быстро-быстро, что у него дети, что он сам из смердов, что он ни при чём, что он только считает, он только пишет, он никого не трогал.

Лют взял его за волосы, откинул ему голову назад и провёл ножом по горлу.

Спокойно, одним движением, слева направо, как режут барана.

Тиун дёрнулся и захрипел, и кровь пошла из горла широкой струёй, ему на грудь и вниз, в воду. Он постоял ещё на коленях, пуская пузыри, потом завалился набок. И вода на льду вокруг него стала красной, и это красное медленно расходилось по серой воде кругами, всё шире, и тянулось к берегу, к Кривцу, потому что лёд у берега был ниже.

На берегу кто-то закричал. Кого-то рвало.

Лют вытер нож о полу волчьей шкуры и выпрямился.

— Вот, — крикнул он. — Вот так теперь будет с каждым, кто пишет и считает! Кто записывает, кому хлеб продавать, а кому с голодудохнуть!

Кривец стоял на берегу и не двигался. Никто не побежал, никто не взял лук. Люди стояли и смотрели на красную воду,

которая подползала к берегу, и у многих шевелились губы, и никто не мог выговорить ни слова.

За двадцать лет изгой не убили ни одного человека у них на глазах.

— Мы пришли сказать! Слушайте, крещёные! В Киеве бога сбросили в реку! Слышали? В Киеве! Волокли конём, били палками, и весь город смотрел! Весь город! И ни один не заступился! Ни один!

— Мы-то при чём? — крикнул Некрас, и голос у него сорвался. — Мы-то что тебе сделали?!

— А теперь идут сюда! — Лют выбросил руку на юг и не заметил, что его перебили. — Добрыня-воевода с Путятю! На Новгород! А от Новгорода — по волостям! И придут в ваш Кривец! И спросят с каждого! С каждого, слышите?! И тогда вы вспомните, чьи вы дети! Да поздно будет!

— Мы крещёные сто с лишним лет, — сказал Некрас, и голос у него дал петуха. — Нам с Добрыней делить нечего. Мы дань платим. Мы всё как положено...

— Дурак, — почти ласково сказал Лют. — При чём тут Добрыня.

Он поднял голову и повёл ею, будто принимаясь.

— Проснулись. Понимаете? Наши проснулись. Я слышу их четвёртую неделю. Они голодные, очень голодные, и им всё равно, кто в чём виноват. — Он улыбнулся, и Ярина увидела, что у него нет двух передних зубов и что улыбка от этого делается детской. — Так что я вам по-хорошему. Мы од-

ной крови, моя прабабка отсюда родом. Уходите к нам. Отрекитесь и уходите. Кто придёт до Красной горки — примем.
— А кто не придёт? — спросил кто-то.
Лют опустил голову.
— А кто не придёт — тот сыть.

* * *

Слово упало и легло. Его знали. Волчья сыть — так говорили про падаль, брошенную в лесу; так ругались на плохую лошадь; так называли то, что достаётся зверю, когда человеку уже не нужно.

— Богохульство, — сказал поп Кирилл.

Он сказал это негромко, но его слышали, потому что он вышел вперёд, а его не ждали: старик в вытертой рясе, без креста в руках, потому что креста не взял.

— Отче, ты куда! — зашипел Некрас. — Отче, да ты что, вернись, он же...

Кирилл не обернулся.

Лют посмотрел на него с интересом.

— Поп.

— Поп.

— Тебя первым.

— Это я понял, — сказал Кирилл. — Я, сыне, старый, я быстро понимаю, мне некогда медленно. Ты мне вот что

скажи. Ты сказал: «наши проснулись». А как ты их зовёшь?

Лют моргнул.

— Что?

— Имена. Ты говоришь: наши боги. Назови хоть одного. Вслух, при всех. Я подожду.

Стало очень тихо.

Лют открыл рот. Постоял так.

— Вы знаете, что он сейчас скажет? — спросил Кирилл, не поворачиваясь, у Кривца за спиной. — Он скажет: «древние». Или: «те, кто в чаще». Или: «господа». Он не знает ни одного имени. Ни он, ни отец его, ни дед. Их выучили ненавидеть, а называть не выучили.

Он поднял глаза на Люта, и в них не было торжества.

— И мне тебя от этого жалко, сыне. Я-то своего Бога зову по имени каждый день. Иной раз и не по делу зову, грешен. — Он вздохнул. — А ты сто лет носишь на голове волчий череп и не знаешь, кому кланяешься.

* * *

Лют убил бы его.

Он потянул из-за пояса топор — Ярина видела, как побелели пальцы, — и в этот момент вперёд вышел её брат.

Богше было девятнадцать. Он был кузнец, третье лето сам у горна, и руки у него уже были такие, что бабы в Кривце на

него смотрели, а он не замечал.

— Стой, — сказал он Люту.

Лют остановился — не от приказа, а от удивления.

Богша повернулся к попу.

— Отче. А сам-то?

— Что я сам?

— Имена. — Богша говорил медленно, будто перетаскивал что-то тяжёлое с места на место. — Ты сказал, у них нет. А у нас? Ты нам про Авраама. Про Иакова. Ну. А как звали моего прапрадеда?

Кирилл молчал.

— Не знаешь.

— Не знаю, — сказал поп.

— И я не знаю. И батя не знал. — Богша пожал плечами.

— Ну и за что мы держимся, отче?

Он повернулся и пошёл через толпу к тыну, и толпа расступилась, потому что не поняла, что происходит.

— Богша! — сказала Ярина. — То есть... Богша, погоди, ты куда...

Он не остановился.

* * *

Он ушёл не в тот вечер.

В тот вечер Лют увёл своих обратно в ольшаник, а тиу-

на оставил лежать на льду, и до полуночи со льда доносился волчий вой — не настоящий, человеческий, они были по очереди, и это было противнее настоящего.

Тиуна никто не пошёл забирать до утра.

Ночью подморозило, и вода на льду схватилась, и к утру он вмёрз в лёд боком, в розовую корку, и его вырубили топорами, и Кирилл читал над ним, стоя на льду, и от холода у попа слезились глаза.

Богша ушёл через одиннадцать дней.

Все эти одиннадцать дней он работал. Он перековал Некрасу сошник, два раза перековал, потому что в первый раз не понравилось. Выковал соседке ухват. Починил церковный замок, хотя Кирилл не просил. Он работал с утра до темноты и не говорил ни с кем, и Ярина понимала, почему: он раздавал долги.

Он собрался ночью, взял полосу железа, молот и отцовскую свиту, и на пороге его застала Ярина, потому что не спала третью ночь и ждала.

Они стояли в сенях, в темноте.

— Не держи, — сказал он.

— Я не держу.

— Держишь. Глазами. Это хуже.

Ярина села на ларь.

— Ты понимаешь, что он тебе сказал? Он сказал: отрекись. Не «приходи», а отрекись. Ты хоть... то есть не так. Ты хоть знаешь, от чего?

— Ну.

— От чего? От Христа? Ты и Христа-то толком не знаешь, ты в церкви спишь.

— Не от Христа.

Он присел перед ней на корточки, чтобы быть вровень, — привычка с детства, когда она была меньше.

— Ярин. Поп сказал: мы в сиротстве. Он прав. Хлеб у порога ставим — кому? На бугор ходим — зачем? — Он потёр лицо. — Как пёс, который ходит вокруг места, где раньше конура стояла. Ходит и ходит.

— И что?

— А Лют знает зачем.

— Он врёт.

— Может. — Богша не спорил. — Может, всё врёт. А знает зачем. А я нет. И я больше не могу.

Ярина смотрела на брата и понимала, что все слова, которые она приготовила за три ночи, никуда не годятся.

— Возьми, — сказала она.

Она сняла с шеи и протянула — не крест, крест остался. Маленькое медное колёсико о шести спицах на потемневшем ремешке. Оно лежало в коробе с берестой, сколько она себя помнила, и бабка говорила, что это от прабабки, а откуда у прабабки — не знала.

— Это что?

— Не знаю. Наше что-то.

Он зажал колёсико в кулаке и вдруг засмеялся, коротко и

невесело.

— Вот. Вот об этом я и говорю.

* * *

До третьей версты он дошёл к рассвету.

Шёл по насту, пока держал, потом проваливался по колёно и шёл так.

Ночь была ясная, морозная после оттепели, и наст звенел под ногой, как стекло, и проламывался с хрустом. Звёзды стояли низко над лесом, крупные, белые. В ельнике было темно, как в погребё, и пахло смолой и снегом, а когда он выходил на прогалины, лунный свет лежал на снегу так ярко, что можно было разглядеть каждый след: заячьи петли, лисью строчку, а один раз — широкие, вдавленные, с когтями, чьи, он не понял и не стал разглядывать. Полоса железа на плече натёрла ключицу, и он перекладывал её с одного плеча на другое через каждые сто шагов.

Он думал, что будет думать о сестре, или о попе, или о том, что он сейчас делает. А думал о том, что забыл клещи.

Клещи остались на гвозде у горна. Хорошие клещи, отцовские, с подпиленными губками, чтоб держали тонкую заготовку. Без них он не скуёт ничего путного, а новые делать — три дня.

Он остановился посреди леса и чуть не повернул назад.

Постоял.

— Ну и ладно, — сказал он вслух. — Скую.

У трёх сосен из одного корня его встретили двое, в буром, с луками, и повели. Один оглядел его, полосу железа и молот.

— Кузнец?

— Ну.

— Это хорошо, — сказал тот. — У нас кузнеца с осени нет. Помер.

— От чего?

— Да так, — сказал провожатый и больше не объяснял.

* * *

Бабка Веретея умерла в конце марта, на исходе распутицы.

Весна шла трудно. Дороги раскисли так, что телега уходила в грязь по ступицу, и в Кривец не ездил никто. Снег сходил пятнами, и из-под него вылезала прошлогодняя трава, бурая, свалявшаяся, как шерсть на дохлой собаке. На берёзах у церкви сидели грачи, прилетевшие неделю назад, и орали с утра до вечера, чиня старые гнёзда. По ночам лёд на Полисти стонал.

Она умирала трое суток, в сознании, сердито, и всех гоняла.

— Не стой над душой. Не шепчи, я не глухая. Воды дай.

Не такой, похолоднее. Что ты мне суёшь, это не вода, это помой.

В последнее утро велела принести короб.

Ярина принесла.

— Открой. Да не так, криворукая, крышку придержи. Нижние достань.

Ярина достала три чёрные ломкие полоски.

Старуха посмотрела на них слепнувшими глазами и долго молчала.

— Вот что, — сказала она наконец. — Я вру, что не знаю. Я знаю половину, а половины мало, и оттого я тебе не говорила.

— Говори теперь.

— Их было много. Не три. Их был короб, большой, в две руки, весь набитый. Их держали в роду и раз в год читали вслух — все до одного, по имени, у огня. Так завёл кто-то из наших, я не знаю кто.

Она перевела дух.

— А потом читать перестали. И короб отнесли попу, потому что писано было не буквами и никто не разбирал. И он лежит в церкви, в ларе, под спудом, и лежит там, почитай, полвека.

— Зачем ты мне это?

— Затем, что я не смогла. — Бабка скривилась. — Я один раз попросила у отца Кирилла посмотреть, а он не дал, и я отступилась, дура старая. Ну и дура. Ну и помираю дурой.

Она вцепилась в руку внучки неожиданно сильно.

— А ты не отступайся. Слышишь? Ты грамотная, ты и черты знаешь, и буквы. Возьми и прочти.

— Что прочту-то, бабушка? Там же одни имена.

Веретея посмотрела на неё.

— Дитя, — сказала она. — А что, по-твоему, ещё бывает важного?

Глава вторая

НАВЬИХ БЕРЕГОВ ТУМАН

*Седой туман ползёт по чёрной глади,
Стирая берега, стирая свет.
Сквозь камыши, в болотной смрадной пади
Встаёт из ила тот, кого здесь нет.*

«Навьих берегов туман»



Лёд на Полисти встал криво и сошёл рано.

Обычно река ломает себя двое суток, с грохотом, ставя льдины дыбом. В тот год лёд просто истаял за неделю, без единого треска: почернел, осел и ушёл, и вода поднялась тихо, будто её налили.

— Не к добру, — сказал староста Некрас. — Я семьдесят зим... то есть не семьдесят, пятьдесят три, но всё равно, я такого не видел. Лёд должен ломаться. Если лёд не ломается, значит, он куда-то делся, а куда он делся?

— Растаял, — сказала Ярина.

— Растаял! — Некрас всплеснул руками. — Так он всегда тает! А тут тихо растаял. Это разное.

А потом лёг туман.

Он пришёл на седьмой день после Пасхи и не сошёл. Весенний туман на реке живёт до третьего часа, потом солнце его снимает; этот стоял и в полдень. Он лежал в пойме ровным белым слоем в рост человека, так, что мужик, идущий берегом, был виден по грудь, а ниже груди его не было.

И в тумане не звучало.

Не «было тихо» — тихо в тумане и должно быть. В нём именно не звучало: человек кричал и слышал свой крик коротким, обрубленным, будто ему затыкали рот на втором слоге.

Туман пришёл как раз тогда, когда зацвела черёмуха.

Черёмухи на Полисти много: она стоит по всем берегам сплошной стеной, и в обычный год, когда зацветает, весь

Кривец неделю ходит с больной головой, потому что запах такой, что его можно резать ножом. В тот год она цвела в тумане. Белое в белом. Кисти свисали из тумана над водой, как будто сами по себе, без веток, и от них тянуло сладким, тяжёлым, и в тумане этот запах не расходился, а стоял на месте, густой, и кружилась голова, и подташнивало.

Лягушки в пойме молчали. Соловьи, которые в это время должны петь по ночам в каждом кусте, молчали тоже.

Скотину перестали гонять к воде на третий день.

* * *

Первым пропал Нечай, кривецкий бортник.

Он пошёл ставить верши и не вернулся. Его искали двое суток, нашли лодку, вершу и шапку, а его не нашли. Решили: утоп, и пошли служить.

Через четыре дня пропал мальчишка с выселок, десяти лет.

Через шесть — двое сразу, муж и жена, ехавшие на телеге в Молодь. Телега стояла на дороге, лошадь щипала траву у обочины, на телеге лежал мешок с солью, и соль была нетронута.

— Соль! — Некрас стоял над телегой и не мог успокоиться. — Соль целая! Вы понимаете? Мешок соли. Кто ж соль оставит? Разбойник соль не оставит, волк соль не оставит, её

даже медведь... ну, медведь, может, и оставит, но медведь бы лошадь задрал. А лошадь вон стоит.

— Некрас.

— Что Некрас? Я правду говорю!

Вот тут Кривец испугался по-настоящему, потому что от разбоя соль не остаётся.

* * *

На седьмой день у Горюнихи пропала корова.

Её нашли к вечеру, у воды, в ивняке, по звуку: над ней гудели мухи, в тумане, густо, как пчелиный рой.

Корова лежала на боку, и живота у неё не было. Не распорот — вынут. Будто кто-то большой, очень большой, взял её в пасть поперёк и выел середину, аккуратно, не тронув ни ног, ни головы, и оставил остальное. Рёбра торчали наружу, белые, обглоданные дочиста. Кровь залила ивняк и песок, и вытекла в воду, и туман над этим местом стоял розовый, будто в нём развели клюкву.

Следов не было. На сыром песке у воды не было ни одного следа, кроме коровьих.

Горюниха стояла над ней и не плакала, а только говорила одно и то же:

— Она ж стельная была. Стельная была, стельная.

Мальчишку с выселок нашли на одиннадцатый день.

Нашли случайно, мужики на лодке, которые шли вверх вдоль берега, медленно, отталкиваясь шестом, потому что грести в тумане было страшно. Он стоял в воде по пояс, у самых камышей, спиной к ним, и мужики сперва окликнули его, потому что решили: живой, заблудился, стоит, ждёт.

Он не ответил.

Они подошли ближе, и старший тронул его шестом за плечо, и мальчишка медленно повернулся в воде, как поворачивается в воде бревно, и они увидели лицо.

Он стоял мёртвый. Он утонул стоя, держась обеими руками за пучок камыша, и так и вцепился, и так и застыл, и вода держала его на ногах. Рот у него был полон ила, чёрного, жирного, и из носа тоже торчал ил. Глаза были открыты и белые от воды.

На плечи ему нападали лепестки черёмухи.

Мужики вытащили его в лодку, и пальцы с камыша разжать не смогли, и срезали камыш ножом у самой воды, и привезли мальчишку в Кривец так, с камышом в кулаках.

Ярина увидела первого на девятнадцатый день после Пасхи.

Она пошла за медуницей — не потому, что не боялась, а потому, что у Малуши третьи сутки не спадал жар, а из трав оставалась одна кора. Пошла в полдень, по верхней тропе, по-над яром, где тумана быть не могло.

Туман был. Он поднялся из поймы выше обычного и лежал теперь по кромке яра, и Ярина шла по щиколотку в белом.

На спуске к ключам она остановилась.

Внизу, шагах в тридцати, в самой гуще, кто-то стоял.

Виден был только верх: плечи, голова. Мужчина, немолодой, с бородой, в тёмном. Он стоял лицом к реке и не шевелился.

— Эй! — крикнула Ярина.

Крик обрубило на «э».

Тот повернул голову.

В нём не было ничего страшного, и это было главное. Обычный мужик лет пятидесяти, с обычным лицом, немного отёкшим, немного серым, — такое лицо бывает у человека, который трое суток не спал и много выпил. Не гнилой. Не с провалившимися глазами.

Просто мокрый.

С бороды у него текло, с волос текло, и одежда облепила тело, и от этого делалось ясно, что стоит он давно, потому что вокруг него белое было плотнее, будто натекло. На плечах у него лежали мокрые лепестки черёмухи, и от него пахла рекой, тиной и ещё чем-то сладким и тяжёлым, чего Ярина не сразу узнала, а потом узнала: так пахнет мясо, которое пролежало на солнце.

— Кто я? — спросил он.

* * *

Голос был обыкновенный, немного хриплый.

Ярина не смогла ответить. В горле стояла пробка, и ноги не шли ни вперёд, ни назад.

— Ты меня знаешь? Скажи. Ты только скажи, я вспомню. Мне бы начало. Одно слово. Одно.

Он сделал шаг к склону.

— Меня как-то звали. Я помню, что звали. Лошадь помню. Гнедая. Или нет, рыжая. Гнедая. — Он поднял руку, и на предплечье был белый рубец. — Вот, видишь? Порезал. Значит, я был. Значит, кто-то меня как-то звал. Ну? Звал же?

— Я... — сказала Ярина. — То есть... я не...

— Ну?

— Я не знаю.

Мокрый остановился.

И лицо у него погасло. Не исказилось, не почернело — просто погасло, как гаснет лучина, когда её опускают в воду.
— Опять, — сказал он.

Он повернулся и пошёл в туман, и был виден ещё немного, и белое сомкнулось.

* * *

— Что ты видела? — спросил поп Кирилл.

Он усадил её в притворе, дал воды и стоял над ней, и руки у него дрожали, а голос — нет.

— Мертвеца.

— Ярина.

— Мертвеца, отче. Утопленника. Мокрого. Он спросил, как его зовут.

Кирилл сел на лавку напротив. Он молчал так долго, что она успела допить и поставить ковш.

— Про Нечая слышала?

— Что утоп.

— Что его видели. — Поп поскрёб бороду. — Три бабы, порознь, в разные дни. Я им не поверил. Я, дитя, бабам вообще не верю, что они видели, я верю, что они боятся. А тут три, и все одно: стоял в тумане и спрашивал.

— Что спрашивал?

— «Как меня звать».



Он встал и прошёлся по притвору, заложив руки за спину.

— Я тебе сейчас скажу вещь, за которую меня из сана извергнут. Передашь?

— Нет.

— Ну и хорошо. Хотя извергать меня, прости Господи, некому, я один на сорок вёрст. — Он остановился. — Их не поминают. Никого. Лет пятьдесят как перестали по-настоящему. Записочки подают за своих, за трёх-четырёх, кого при жизни застали, а дальше пусто. У меня в приходе триста живых и тысяч десять мёртвых, и из десяти тысяч по имени не назван ни один.

— Так везде, отче.

— Так везде. И оттого мне и страшно, что везде.

Он вернулся и сел, кряхтя.

— Я всю жизнь думал, дитя, что душе нужна молитва. Я и сейчас так думаю, не бойся, я не еретик, я просто старый. А только за молитвой есть ещё одна вещь, попроще. Молитва — это когда ты говоришь Богу про человека. — Он посмотрел на неё. — А чтобы сказать про человека, надо знать, как его зовут.

— И что?

— А то, что мы перестали знать. — Кирилл развёл рука-

ми. — А они заметили. Вот и всё богословие. Не пиши никому.

* * *

В овраге за третьей верстой в тот день впервые затопили горн.

Весна в овраге была другая, чем в Кривце. Снег там сходил позже, лежал по дну серыми рыхлыми языками, и из-под языков бежали ручьи, мутные, холодные, в каждой рытвине. Глина на склонах раскисла и ползла, и землянки текли. По краю оврага, наверху, уже зеленела трава, а внизу ещё стояла зима, и между ними, на склоне, цвела мать-и-мачеха — жёлтыми пятнами прямо в грязи, как будто кто-то набросал медных монет.

Горн там был старый, глиняный, осевший набок, и стоял он в отдельной землянке, в которую полгода никто не заходил. Богшу привели туда на второй день и сказали: вот, твоё. Он обошёл землянку кругом.

Наковальня была хорошая, тяжёлая, с рогом. Меха прохудились в двух местах. Инструмент валялся по углам, покрытый ржавчиной, и на верстаке лежали недоделанные наконечники — штук сорок, брошенные на середине.

— Кто тут работал? — спросил Богша.

— Кузнец, — сказал провожатый.

— Как звали?

Провожатый пожал плечами.

— Кузнец и кузнец. Мы его так звали.

— А до того? Как мать звала?

— Откуда я знаю, как его мать звала?

Богша повертел в руках брошенный наконечник. Работа была добрая, только спешная: кромку не довели, закалку не дали.

— От чего помер?

— Лют сказал: слаб оказался. — Провожатый отвёл глаза.

— Он ночью ушёл. Хотел в Кривец вернуться. Его на третий день нашли у Долгого Мха.

— Утоп?

— Лют сказал: слаб оказался, — повторил провожатый и вышел.

* * *

Богша залатал мехи к вечеру и затопил.

Он стоял у горна и смотрел, как занимается уголь, и думал не о Люте и не о Кривце, а о том, что у этого кузнеца тоже была мать, и она его как-то звала, и никто в этом овраге этого имени не знает.

Он взял со стены наконечник, брошенный на середине, и положил в огонь.

— Ну, — сказал он вслух. — Доделаю.

И стал доделывать, потому что надо было куда-то деть руки.

* * *

В ту же ночь Ярина взяла лучину и пошла в церковь одна.

Ларь стоял в углу, за клиросом, под тремя мешками с воском. Он был окован железом и заперт на пробой, и ключ висел у попа на поясе. Просить она не стала, потому что уже раз просила бабка.

Она пришла не за ключом. Она пришла посмотреть, целый ли он.

Ларь был мокрый.

Он стоял в сухом углу, на сухом полу, под сухими мешками, и по его окованному боку текло, и под ним, на досках, растекалась лужа, и лужа пахла илом.

Ярина опустилась на колени и потрогала. Вода была холодная, как из-подо льда.

— Я слышу, — сказала она вслух, сама не понимая кому.
— Слышу. То есть... я приду. Я приду, слышите?

С той стороны дерева, изнутри, что-то тихо стукнуло — один раз, будто там осел слежавшийся ворох.

И перестало.

Интерлюдия первая КЛЮЧЕВСКОЕ

*От наших песен несколько осколков,
От наших знаков камни да зола.*



— Отче, а где они лежат?

Кирилл поднял голову от требника.

— Кто?

— Старые, — сказала Ярина. — Которые до нас. Которых на бересте.

Поп подумал.

— Везде, — сказал он.

* * *

Это был не уход от ответа, а ответ.

В верховьях Полисти не было кладбищ в том смысле, в каком они бывают у греков или у ляхов, — огороженного места, куда носят всех подряд. Погост при церкви в Кривце завели шестьдесят лет назад, и в нём лежало от силы двести человек.

Остальные лежали везде.

Под пашней. Под выгоном. Под дорогой на Липну, потому что дорога прошла в позапрошлом веке по старому полю, а поле было по старому селищу. Под самой церковью, потому что церковь поставили на бугре, а бугор был удобный, а удобные места люди выбирают одни и те же раз в триста лет.

— Мы по ним ходим, — сказал Кирилл. — Всю жизнь, каждый день. И это не грех и не беда, дитя, это как земля устроена. Беда в другом.

— В чём?

— В том, что мы не здороваемся.

Про Ключевское она узнала случайно, от старика Гостюхи, который знал в верховьях всё, потому что хромал и оттого много сидел и слушал.

— Ключевское? — переспросил он. — А, Ключевское. Поле такое. Это где... погоди. Две версты вверх, по левому, за Хмелевой полосой. Там ещё в тот год, когда у Жданки корова пала, мы косили и Тишка косу сломал. Не помнишь? Ну да, ты мала была. Хорошее поле, десятин сорок.

— А почему Ключевское?

— Ключи бьют. Семь штук, из-под яра. Вода такая, что зубы ломит. Я раз напился, так у меня три дня...

— Дедушка, а деревни там нет?

— Нету.

— А была?

Старик поскрёб бороду.

— А была, — сказал он с удивлением, будто сам впервые задумался. — Была, дочка. Потому и поле ровное, что жилое. Только когда — не скажу. Дед мой не помнил. А дед мой, царство ему небесное, до ста годов дожил. Или до девяноста. Нет, до ста.

Она пошла туда в конце мая, в ясный день, потому что в туман ходить не решилась.

Поле было хорошее.

Оно лежало на невысокой террасе над рекой, южным ска-

том, — сорок десятин ровного, чистого, слегка выпуклого суглинка, поросшего густой травой. По краю шёл ольшаник. Ниже, под яром, звенели ключи.

Ярина обошла его кругом за час.

Она не знала, что ищет, и потому смотрела всё подряд.

Она нашла камни.

Их было много, и они лежали неправильно.

Полевой камень лежит как попало — его выпаживают и кидают на межу, и он там валяется кучей. Эти лежали иначе: длинными полосами, чуть углубившимися в дёрн, по три и по четыре сажени, и полосы шли под прямым углом друг к другу.

Ярина стала на четвереньки и разгребла дёрн ножом.

Под дёрном был камень, а под камнем — глина, обожжённая до кирпичного цвета.

Она поняла не сразу, потому что никогда не видела, а поняв, села на пятки и долго смотрела.

Это был под. Печной под.

* * *

К вечеру она насчитала девятнадцать таких мест.

Девятнадцать печей, значит, девятнадцать изб, значит, дворов двадцать с небольшим, значит, людей двести или около того.

Она ходила по этому полю и считала, и с каждым найденным подом ей делалось всё тише и тише внутри.

Двести человек.

Они жили здесь. Они выходили утром вот на этот скат, потому что он южный и сохнет раньше. Они брали воду из тех семи ключей, из которых Ярина только что пила и которые были такие холодные, что заломило зубы. Они ставили тыны, рожали детей, ругались из-за меж, ходили в лес, хоронили своих где-то тут же, рядом.

И от них осталось ровно вот это: сорок десятин хорошей травы, которую Кривец косит на сено, и девятнадцать обожжённых пятен под дёрном, о которых не знает никто, включая тех, кто косит.

Ни имени места. Ни имени человека. Ни одного слова.

Она пошла к ключам напиться перед обратной дорогой.

Солнце уже садилось, и от воды потянуло холодом, и над самой водой, в ложбинке, стояла полоска тумана — тонкая, в две ладони, обыкновенная, вечерняя.

В ней стоял мокрый.

Ярина узнала его сразу.

Тот же, из-под Кривца: немолодой, лет пятидесяти, с отёкшим серым лицом, с бородой, с которой текло. Тот самый, который спросил её в апреле, кто он, и которому она сказала «не знаю», и у которого от этого погасло лицо.

Он стоял по колено в тумане и смотрел на неё.

— Ты, — сказал он.

— Я, — сказала Ярина.

Она не побежала. Она четыре часа ходила по чужим печам и считала мёртвых, и к вечеру у неё внутри выгорело место, где обычно сидит страх.

— Ты сказала, что не знаешь, — сказал мокрый.

— Сказала.

— А теперь?

* * *

Ярина села на камень у воды.

— Слушай, — сказала она. — Я тебе сейчас буду говорить, а ты меня поправляй. Договорились?

Он не ответил, но и не ушёл.

— У тебя рубец на левой руке, вот тут. — Она показала на себе. — Длинный, ровный. Такой бывает от косы, если по руке. Косой рубятся косцы, значит, ты косил.

Молчание.

— Свита у тебя кожаная, а застёжка бронзовая. Такие носят те, кто ходит по реке. Значит, ты не только косил, ты ещё и лодьи водил или при лодьях был.

Она подумала.

— Ты сказал: помню лошадь. Кто помнит лошадь — тот с лошадыю работал. У бортника лошади нет, у рыбака нет. У возчика есть.

Мокрый шевельнулся.

— Была, — сказал он. — Была лошадь. Серая.

— Ну вот, — сказала Ярина, и у неё сел голос. — Ну вот, видишь. Ты возчик. Ты возил по реке и по берегу, и ты косил, и у тебя была серая лошадь, и ты, наверное, был не бедный, потому что бронза.

Она перевела дух.

— Больше я про тебя ничего не знаю, — сказала она. — И никто уже не знает. Понимаешь? Некому знать. Я сегодня целый день ходила по полю, где стояла твоя деревня, и там трава.

— Ну и что, — сказал мокрый.

— А то, что я тебе сейчас совру, — сказала Ярина. — И ты, пожалуйста, не сердись.

Она встала.

— Может быть, тебя звали... — начала она.

И осеклась.

Она произнесла эти три слова и увидела, что ничего не произошло: мокрый стоял как стоял, и туман вокруг него был такой же, и в воздухе не переменилось ровно ничего.

Ярина постояла, соображая.

Потом поняла — не умом, а как понимают, куда ставить ногу на льду.

«Может быть», это не имя. «Может быть», это когда ты оставляешь себе выход.

Она вытерла ладони о подол.

— Тебя зовут Первуша, — сказала она.

Она сказала это ровно и просто, как говорят «сегодня вторник», и в голове у неё при этом отчётливо стояло: я вру, я это сейчас выдумала, его звали как-то иначе, и я никогда не узнаю как.

И всё равно сказала.

Мокрый поднял голову.

— Первуша, — повторил он.

— Первуша, — сказала Ярина. — Возчик. У тебя была серая лошадь.

— Точно?

— Точно, — сказала она.

Он посмотрел на неё, и Ярина увидела, что он знает.

Вот что было самое страшное и самое главное: он знал, что она врёт. Он стоял и знал, и она стояла и знала, что он знает.

— Ну и хорошо, — сказал он.

И сел.

Он сел в туман, как садится очень усталый человек, — сначала на корточки, потом на землю, и уронил голову, — и туман над ним сомкнулся и через минуту разошёлся, и под ним не было ничего, кроме мокрой травы у ключа.

Ярину вырвало.

Она стояла на четвереньках у воды, и её выворачивало, и она не понимала чем, потому что не ела с утра.

Потом она села и засмеялась.

Она смеялась минут пять, одна, в сумерках, посреди поля, под которым лежали двести безымянных человек, и хохот у неё выходил нехороший, и она это слышала со стороны и не могла остановиться.

Потому что получилось.

* * *

Домой она пришла затемно и пошла прямо в церковь.

Кирилл был в алтаре и вышел на голос.

— Отче, я соврала мертвецу.

Он посадил её и выслушал всё, от поля до ключей, не перебив ни разу.

Потом молчал очень долго.

— Ярина, — сказал он наконец. — Я должен тебе сказать, что это худо. Я поп, я обязан. Вот, сказал.

— Я знаю.

— Нет, ты послушай. — Он поднял ладонь. — Имя человеку даётся один раз. Родителями либо Церковью. Оно не выдумывается, потому что имя — не ярлык на горшке. Ты сегодня взяла и назвала человека не так, как его назвала мать. Это, дитя, дерзость такая, что я даже не знаю, к какому правилу её отнести.

— И что мне теперь?

— Не знаю, — сказал поп.

Он встал и прошёлся по церкви — от клироса к дверям и обратно, и половицы под ним скрипели.

— Я сорок лет служу, — сказал он. — Я привык, что на всякое есть правило, и я всякий раз его находил. А тут нет.

Он остановился.

— Ты подумай, что вышло, — сказал Кирилл. — Ты со-
вратала — и человеку стало легче. Не тебе. Ему. Он лёг.

— Так, может, это бес?

— Может, — согласился поп. — Бесу тоже иногда полезно, чтоб ты потом за ним пошла. — Он потёр глаза. — Только знаешь, дитя, я на бесов за сорок лет столько списал, что у них, поди, уже ларь отдельный. И заметил: на беса списываешь, когда неохота думать.

Он сел напротив неё.

— Вот тебе, — сказал он, — как я это разумею. Не как правило, а как разумею я, поп Кирилл, семидесяти лет, и за это меня можно бить.

— Говори.

— Имя даётся один раз, — сказал он. — Это верно. И того имени ты ему не вернула и не вернёшь. Значит, ты не имя ему дала.

— А что?

— Ты его одолжила, — сказал Кирилл. — Ты ему своё дала поносить, потому что он голый стоял.

Он поднял палец.

— И потому это не ложь, а милостыня. Ложь — это когда

ты берёшь. А ты отдала.

* * *

Она проспала в ту ночь одиннадцать часов, чего с ней не бывало с детства.

А наутро встала, достала бабкин короб и села заново — уже иначе.

В коробе было сорок два имени, писанных её собственной рукой под бабкину диктовку, и три чёрные ломкие полоски на дне, которых не разбирали никто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.